Цѣна 20 пф.
Preis 20 Pfg.

Подписная цѣна в Германіи 1 зол. марка в мѣсяц.
Цѣна об'явленій: Послѣ текста 30 пф. зол. за миллім., в текстѣ 60 пф. за милліметр.

Рукописи без обозначенія условій считаются безплатными. — Редакція не обязана возвращать мелких рукописей.

Редакція газеты «Время» в Берлинѣ — Berlin W 8, Krausenstrasse 4-5 Телефон: Merkur 4340 и 4341.

Редактор принимает ежедн. от 12—1 ч.

Пріем подписки и об'явленій в конторѣ издательства Berlin W 8, Krausenstr. 4-5 Телефон: Merkur 4340 и 4341.

ВРЕМЯ

„WREMJA"

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Gebr. Barenholz GBN производство • экспорт вязальная шерсть хлопчатобумажныя издѣлія предоставляю требованію Berlin SW 19, Wallstr. 11-12

№ 313 Берлин, Понедѣльник 21 іюля 1924 г. Год изданія V

Памяти Антона Павловича Чехова

к двадцатилѣтію со дня смерти 1904—1924 г.

Александр Яблоновскій.

Послѣдніе годы Чехова.

Нестерпимо грустно читать письма Чехова к его женѣ, артисткѣ Художественнаго театра О. Л. Книппер.

Больной, одинокій, тоскующій, Чехов сидѣл в своей «теплой Сибири», как называл он Ялту, а душа его тянулась на сѣвер, в Москву, гдѣ всѣми огнями горѣла и переливалась радостная, завидная, сверкающая жизнь...

Как птица с перебитым крылом тоскующими глазами провожает свою стаю, улетающую на юг, так больной Чехов смотрѣл на всѣх «вольных» людей, которые могут жить, гдѣ хотят, не прислушиваясь ни к своему пульсу, ни к своему кашлю.

Эта тоска по культурному городу, по русской зимѣ, по интересным людям и по любимому дѣлу (Чехов очень пристрастился к Художественному театру) осложнялась еще нѣжной любовью к вѣчно занятой и вѣчно отсутствующей женѣ.

— Она — в Москвѣ, он — в своей «теплой Сибири», и только великим постом или лѣтом супруги могли с'ѣзжаться вмѣстѣ, чтобы украсть у судьбы мѣсяц, другой счастья.

Какими нѣжными и, для чужого уха, странными словами ласкает Чехов любимую женщину! Каких только имен, прозвищ, кличек и названій он не придумывает для нея:

— «Мой милый дусик!»
— «Милая моя актрисуля!»
— «Милая моя Олюша, пупсик мой!»
— «Собака моя хорошая!»
— «Дорогая собака!»
— «Милая собака, родная собака!»

И даже такія прозвища попадаются:

— «Мой крокодил», «жулик мой милый», «актриска», «лошадка», «каракуля», «кутила», «моя милая забулдыга» и т. д. и т. д.

Повторяю: для посторонняго глаза и уха всѣ эти ласкательныя имена могут показаться странными, а для Чехова и неожиданными. Но за ними чувствуется большая любовь, стыдливая нѣжность и вѣчная, гложущая тоска по любимому человѣку.

Ожидая жену в Ялту на нѣсколько дней, Чехов пишет ей:

— «Дусик мой! умоляю, сдѣлай так, чтобы выѣхать 20-го (февраля)! Умоляю! Дуся моя, родная, свѣтик, красавица, умоляю тебя, в ножки кланяюсь, выѣзжай из Москвы 20-го, чтобы быть здѣсь в пятницу! Исполни мою просьбу! Докажи, что ты добрая жена! Попроси барина Владиміра Ивановича (Немировича-Данченку), он отпустит!»

В другом письмѣ та же тоска через край переполнила душу писателя:

— «Ах, актрисуля моя хорошая, когда же, когда мы увидимся? Мнѣ так скучно без тебя, что я скоро начну кричать караул. Меня ничто в Ялтѣ не интересует, я точно в ссылкѣ, в городѣ Березовѣ: Мнѣ нужно жить в Москвѣ, около тебя, нужно видѣть и наблюдать жизнь, нужно жить в Москвѣ»...

— «Ты мнѣ снилась эту ночь. А когда я увижу тебя на самом дѣлѣ — совсѣм неизвѣстно и представляется мнѣ отдаленным. Вѣдь в концѣ января тебя не пустят!.. Приснись мнѣ, дуся!..»

Чеховская улыбка, милый и нѣжный Чеховскій юмор почти совсѣм пропал в этих письмах к женѣ. Только изрѣдка, только случайно больной и тоскующій писатель пробует натянуто улыбнуться:

— «Главное, не хандри. Вѣдь муж у тебя не пьяница, не мотыга, не буян, я совсѣм нѣмецкій муж по своему поведенію; даже хожу в теплых кальсонах. Обнимаю сто один раз, цѣлую без конца мою жену. Твой Ant.»

Или еще:

— «Обнимаю мою жену и цѣлую, на что я имѣю полное право, так как вѣнчался. Твой муж в шерстяных кальсонах.

Нѣмец Ant.»

Эта улыбка и шутка попадается в письмах Чехова из Ялты лишь как исключеніе. Обычное же их содержаніе сводится к тоскливым вопросам:

— Когда я тебя увижу? Почему не ѣдешь? Почему не пишешь? Почему пропустила два дня?

О здоровьѣ своем Чехов пишет мало и скупо и чувствуется, что он и совсѣм бы не писал на эту тему, если бы не был связан словом, данным женѣ.

— Кашляю. Было кровохарканье, но маленькое. Почти прошло.

— Кашляю неистово. Ночью был пот.

— Сижу безвыходно дома. Плеврит. Кашляю звѣрски. Поставили огромный компресс на весь бок. Поставили мушки.

— «Мнѣ кажется, что если бы я полежал хоть половину ночи, уткнувшись носом в твое плечо, то мнѣ полегчало бы и я перестал бы куксить. Я не могу без тебя, как угодно!»

Так и тянулось это медленное, одинокое умираніе. «Теплая Сибирь», большой холодный дом, два ручных журавля во дворѣ, двѣ старухи в кухнѣ и Чехов со своим кровохарканьем, с компрессами на боку и с вѣчным вопросом к женѣ:

— Когда же, когда я тебя увижу, дуся? Я не могу без тебя!

До слез тяжело читать эти письма... Перед глазами так и встают алыя пятна на платках Чехова, слышится его «неистовый», раздирающій кашель и чувствуется вся его исхудалая фигура, одиноко бродящая по холодным комнатам.

И некуда уйти от вопроса:

— Неужели же нельзя было раздѣлить это страшное одиночество и утишить эту тоску такого любящаго и такого нѣжнаго сердца? Неужели театр, артистическій успѣх, роли и пьесы были важнѣе, дороже, ближе, чѣм больной муж?

С наших уст готовы даже сорваться упреки... Но не слѣдует спѣшить с упреками... Трагедія этой несчастной семьи была сложнѣе.

Бросить театр и уѣхать к мужу было нужно и должно. Но на это не согласился бы сам Чехов.

Вот что писала ему жена послѣ одного из очень тяжелых приступов его болѣзни:

— «Антончик, милый мой, ты выздоровѣл? Отчего ты мнѣ не пишешь больше о своей болѣзни? Как температура? Долго ли ты лежал? Ты вѣрно отощал ужасно. Ничего не ѣшь. Как сдѣлать, чтобы ты массу ѣл? Мнѣ так мучительно думать, что я не могу быть около тебя, чтобы ухаживать, мѣнять компрессы, кормить тебя, облегчать тебѣ. Воображаю, как ты страдал. Даю тебѣ слово, что это послѣдній год так, дорогой мой. Я сдѣлаю все, чтобы сдѣлать твою жизнь пріятнѣй, теплѣй, не одинокой, и ты увидишь, тебѣ будет хорошо со мной и ты будешь писать, работать. Ты меня в душѣ, вѣроятно, упрекаешь в недостаткѣ любви к тебѣ. Правда? Упрекаешь за то, что я не бросаю театра, за то, что я не жена тебѣ. Воображаю, что думает обо мнѣ твоя мать. И она права, права»...

Как ни горячо написано это письмо жены, но думается, что сочувствіе читателей останется в данном случаѣ все таки не на ея сторонѣ. Из тысячи женщин, которыя прочтут это письмо, девятьсот девяносто девять непремѣнно скажут:

— Надо было ѣхать. Все бросить и ѣхать. Сію минуту ѣхать!

Но не так смотрѣл не дѣло сам Чехов.

— «Ты, родная, все пишешь, что совѣсть тебя мучит, — писал он, — что ты живешь не со мной в Ялтѣ, а в Москвѣ. Ну, как же быть, голубчик? Ты разсуди как слѣдует: если бы ты жила со мной в Ялтѣ всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена и я чувствовал бы угрызенія совѣсти, что едва ли было бы лучше. Я вѣдь знал, что женюсь на актрисѣ, т. е. когда женился, ясно сознавал, что зимами ты будешь жить в Москвѣ. Ни на одну милліонную я не считаю себя обиженным или обойденным, — напротив, мнѣ кажется, что все идет хорошо, или так, как нужно, и потому, дусик, не смущай меня своими угрызеніями. В мартѣ опять заживем и опять не будем чувствовать теперешняго одиночества»...

Чехов навѣрное не принял бы жертвы.

Ему было бы невыносимо сознавать, что ради него оборвалась большая сценическая карьера его жены, что всѣ мечты и всѣ труды по созданію Художественнаго театра должны пойти прахом и что талантливая артистка вынуждена будет превратиться в сидѣлку.

Но и за всѣм тѣм, это все таки будет неубѣдительно для нас, читателей. Что бы ни говорил Чехов, но наша читательская точка зрѣнія в данном случаѣ останется непоколебимой:

— А все таки надо было ѣхать в Ялту. Немедленно ѣхать. Жена должна была побѣдить актрису.

И только одно соображеніе слѣдует привести в пользу актрисы:

— Это теперь, post factum, мы знаем, что Чехов еще в Ялтѣ был безнадежен. Это теперь мы знаем, что к его легочному туберкулезу прибавился еще туберкулез кишек и что дни его были сочтены. Но вѣдь тогда этого еще не знали. Ни Чехов не знал, ни врачи не знали, ни жена не знала. Тогда было извѣстно только одно: что Чехов страдает туберкулезом, что это его обычное и постоянное состояніе, которое то улучшалось, то ухудшалось. И совершенно естественно, что ни Чехов, ни жена его не могли смотрѣть на вопрос о театрѣ легко. Художественный театр был одинаково близок им обоим. Они оба работали над его созданіем, оба любили свое дѣло и, если трудно было для артистки принести в жертву все «дѣло своей жизни», то еще труднѣе было Чехову принять эту страшную жертву.

Чехов любовался талантом своей жены, гордился ея успѣхами и горячо принимал к сердцу каждое новое завоеваніе Художественнаго театра. Для него была бы нестерпима мысль, что радостное театральное творчество его жены оборвалось из-за него.

И он жил один в своей «теплой Сибири».

— Два ручных журавля во дворѣ, двѣ собаки дворняжки, двѣ старухи в кухнѣ и пустыя, холодныя комнаты в ялтинской виллѣ-тюрьмѣ, которую он сам для себя построил...

Какая печальная, безрадостная жизнь!..

И сколько достоинства и безграничнаго мужества проявил этот умирающій человѣк в своей горькой долѣ.

Чехов умирал, как Сократ... Злая судьба поднесла к его страдальческим устам чашу с цикутой, и он безропотно, тихо и с достоинством выпил ее.

И если прекрасна была свѣтлая жизнь Чехова, то его смерть достойна удивленія и преклоненія.

И древній Петроній не мог бы умереть с большим достоинством и с большим мужеством...

Александр Яблоновскій.